



ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ

* Военный дневник

Владислав ГЛИНКА



А дома был голод, холодина, бледные лица, тонкие пальцы Марианны Евгеньевны, разрезанный на крошечные кусочки хлеб, который еще надо было чуть подсушить на печке, такой он был сырой и клейкий.

Блокадная книга

Владислав Глинка

Воспоминания о блокаде

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Глинка В. М.

Воспоминания о блокаде / В. М. Глинка — «Издательство АСТ»,
2020 — (Блокадная книга)

ISBN 978-5-17-134168-8

Владислав Михайлович Глинка (1903–1983) – писатель и историк, много лет проработавший в Государственном Эрмитаже. Он пережил блокаду Ленинграда, работая в это тяжелое время хранителем в Эрмитаже, фельдшером в госпитале и одновременно отвечая за сохранение коллекций ИРЛИ АН СССР («Пушкинский дом»). Рукопись «Воспоминания о блокаде» была обнаружена наследниками В. М. Глинки после смерти автора при разборе архива. Повествование о первой блокадной зиме в Ленинграде – это, несомненно, главное из мемуаристики автора, где основными действующими лицами выступают два слоя людей, оказавшихся в блокаде. Один из этих слоев – гибнущий. Другой, напротив, необыкновенно живучий. В этом особенность блокадных мемуаров В. М. Глинки – сцены, характеризующие неотвратимость гибели целых пластов работников культуры в условиях бедствия 1941–1942 гг. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-134168-8

© Глинка В. М., 2020
© Издательство АСТ, 2020

Содержание

От составителя	6
Воспоминания о блокаде	9
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Владислав Глинка

Воспоминания о блокаде

Фотоматериалы предоставлены ФГУП МИА «Россия сегодня»
(Борис Кудояров/РИА Новости, Израиль Озерский / РИА Новости)

© В.М. Глинка, наследники, 2020

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2021

* * *

*Памяти моих товарищей – музейных работников всех категорий,
умерших в Ленинграде в 1941–42 гг.*

От составителя

Несколько пояснений, касающихся особенностей подготовки к печати рукописи В.М. Глинка «Воспоминания о блокаде».

Рукопись эта, датированная 1979 годом, четверть века провела в виде, который можно сравнить с неразмотанным коконом. Текст, заключенный в большого формата толстой тетради, исписанный и исчерканный шариковой ручкой, содержал в себе все гены задуманной автором работы, тем не менее так и остался первым, то есть, несомненно, в каком-то смысле еще черновым, вариантом будущей книги. Более того – Владислав Михайлович, закончив первый этап работы, как многоопытный автор положил рукопись «отлежаться», с тем чтобы в дальнейшем вернуться к работе над текстом.

А вышло так, что не только не вернулся, а, очевидно, ни разу после того как написал, не прочел и сам. Готов утверждать это с уверенностью, поскольку провел в попытках довести «Блокаду» до машинописного вида не один год. Виной тому почерк Владислава Михайловича – красивейший, но предельно неразборчивый. Попытка чтения превращалась в расшифровку, когда написанное приходилось разбирать не то что по отдельным словам, а по отдельным словам и даже по буквам. Рукопись была не читаема. Если бы автор вернулся к работе над ней, то это наверняка выразилось хотя бы в том, что он дописывал бы окончания тех многих сотен, если не тысяч слов, которые в рукописи существуют в виде двух-трех начальных букв.

Итак, Владислав Михайлович писал, как писалось, как душа лежала. О том, что у него за почерк, он знал лучше, чем кто-либо, и, должно быть, садясь за стол, первые минуты старался об этом помнить. В рукописи можно легко отличить почти разборчивые, видимо «утренние», строчки, но их всегда немного – две-три... «Блокаду» он писал, страшно волнуясь, это очевидно. Обороты страниц, оставленные для примечаний, полны вставок и дополнений. Эти дополнения особенно неразборчивы. Летели обрывки фраз, обрывки слов... На сюжетный стержень повествования должны были нанизываться картины и явления блокады, показать которые изнутри и было главной задачей. Но в какие-то моменты перо бежало, куда бежать ему первоначально не было задумано. Должно быть в памяти автора вдруг особенно ярко вставало что-то, что, как ему казалось, помнят уже немногие, но что, как непосредственный свидетель, он не имеет права дать забыть. Это и картины того, как музейные чиновники в 1930-е годы гоняли с места на место ценнейшие коллекции и как исчезали в лагерях и тюрьмах виднейшие историки и искусствоведы, или вдруг вспоминался особенно выпукло образ конкретного человека. И, отклонившись от магистральной темы, Владислав Михайлович торопился записать то, что так ярко всплыло в памяти. Из таких крупных портретов следовало бы особенно выделить портреты Ф.Ф. Нотгафта и М.В. Доброклонского. Портретом Доброклонского – личности в понимании В.М. особенной – «Блокада», собственно, и заканчивается, что, вообще говоря, может повергнуть читателя в недоумение, поскольку композиционно все построение «Блокады» при такой концовке как будто никак не сбалансировано...

Ошибка? Просчет? Композиционно, быть может, и просчет. Но это тот просчет, который, как ни странно, рождает усиление смысла названия. И вместо картины одной блокады как бы всплывают картины уже трех блокад – идеологического чиновничьего блокирования в 1930-х годах культуры прошлого, военной блокады 1941–1944 годов и трагического тупика жизни в семье Доброклонских – который можно понимать, как духовную блокаду будущего...

В.М. Глинка явно предполагал еще и еще работать над «Блокадой». В той стадии, на которой она была оставлена, он еще, несомненно, не окончательно определил даже того, кому адресует свою рукопись. Вероятно, именно этой неопределенностью можно объяснить то, что многие действующие лица «Блокады» (а это реальные люди) лишь упомянуты, но никак не разъяснено, кто они, откуда взялись. Эти будто бы проходные фигуры не наделены в рукописи

никакими характеристическими чертами, хотя за некоторыми из них в реальности стояли удивительные повороты жизненных драм, а иногда и трагедий. Примером могут служить хотя бы имена Л.И. Аверьяновой, Т.Н. Эристовой, В.Д. Метальникова. Было бы чрезвычайно жаль, если бы читатель не остановил внимания на некоторых из этих персонажей, и потому, как человек, готовивший рукопись к изданию, автор этого предисловия взял на себя смелость сопроводить «Блокаду» рядом комментариев биографического плана. Комментарии эти разделены на две группы. Те из них, тональность которых более или менее соответствует тональности авторского текста, размещены непосредственно после первого упоминания комментируемого имени, вторая группа комментариев помещена отдельно в конце.

Профессия музейщика, то есть историка, сочетающего знания, почерпнутые из письменных источников, со знанием, накопленным в процессе постоянной работы с экспонатами – зрительным, осязательным, а то так даже звуковым, – профессия совершенно особенная. И особенна она тем, что ценность знаний, накопленных памятью специалиста, эту профессию когда-то выбравшего, год от года лишь нарастает. В противовес множеству таких областей знаний (к примеру технических, медицинских, естественно-научных), бурное развитие которых превращает все, связанное с предшествующим их уровнем, в нечто быстро, а иногда и безнадежно устаревающее, знания историка не только не ветшают, а лишь растут в цене. И потому профессия специалиста-музейщика, профессия, основанная на накоплении этих знаний, – благодарная, пожизненная, быть может, другой такой и нет.

Повествование о первой блокадной зиме в Ленинграде – это, несомненно, главное из мемуаристики В.М. Глинка, главное и по тому, сколь трагически судьбоносны для множества людей оказались описываемые в «Блокаде» события, и по тому, что самому автору выпало в жизни быть одним из них.

Главными действующими лицами повествования выступают, проглядывая всюду, два слоя людей, оказавшихся в блокаде. Один из этих слоев – гибнущий. Другой, напротив, необыкновенно живучий.

Это тот слой, в котором находятся хозяева кота, которого кормят в голодающем городе парным мясом; начальник розового повара; Жданов, играющий в теннис для того, чтобы оставаться «в форме»; начальник среднего звена, ведающий конными хлебными обозами; чиновник, которому пришла в голову гениальная мысль наладить воздушный мост со столицей для доставки туда предметов высокой моды, изготовленных в погибающем от голода осажденном городе. И тут, конечно, реальное перемешано с воображаемым. При отсутствии достоверной информации – и так с 1920-х до 1980-х было всегда – людская молва уверенно начинает выдавать за очевидное то, что лишь кажется ей правдоподобным. Возможно, что совсем не таковы были обстоятельства жизни отдельно взятого кота в блокадную зиму на Кировском пр., 26/28, как, вероятно, не было в подвалах Смольного и теннисного корта, так же как впоследствии генетический наследник П.С. Попкова Г.В. Романов наверняка не брал на свадьбу дочери сервизов из Эрмитажа. Однако затворенность власти и секретность распределения ею житейских благ сыграли с образами носителей этой власти дурную шутку. В своих привычках скрываться за глухим забором власть лишилась и возможной защиты от молвы. Дурная политика портит нравы, сказал поэт. Впрочем, людей, которым по душе жить за глухим забором, не интересует, что о них скажет далекое будущее. Им достаточно близкого настоящего.

Особенностью блокадных мемуаров В.М. Глинка по сравнению с уже опубликованными многочисленными воспоминаниями и записками очевидцев можно считать сцены, характеризующие неотвратимость гибели целых пластов работников культуры в условиях бедствия 1941–1942 гг.

Потомственная, эстафетная передача культурного уровня, наращивание его от поколения к поколению, формирование художественного вкуса и самой системы культурных ценностей может считаться одним из самых важных обстоятельств в становлении специалиста, занимающегося исследованием искусства. И если такого рода школой, таким очагом культуры является вдобавок к учебному заведению собственная семья – вот почва для возникновения таких деятелей искусств и культуры, массовое появление которых в предреволюционные десятилетия получило название «серебряный век». Но век серебряный остался в прошлом, наступил век железный. И трагический мотив гибели семей, являющихся носителями культуры, накопленной несколькими поколениями, звучит в самых разных эпизодах «Блокады». Это и гибель сыновей в семье эрмитажников Доброклонских, и разгром квартиры Трухановых, и трагедия Нотгафтов, и гибель семьи Софьи Юдиной. И так далее, далее – страшному списку нет конца. Беспомощные в быту, лишённые инстинкта добытчиков такие люди погибают первыми. Опыт их жизни бесполезен в дни голода и мора огромного города, на который судьба набросила апокалиптическую сеть.

Многочисленные представители обширного слоя гуманитарной интеллигенции, это большая часть действующих лиц «Блокады», обречены. Этим людям – библиотекарям, архивистам, искусствоведам, музейщикам, сгрудившимся в скудных зарплатой учреждениях культуры, которые и в мирное-то время стояли у советской власти, если говорить о снабжении, на последнем месте, надеяться не на что... Власть о них вспомнит, если вспомнит вообще, в самую последнюю очередь.

И все же мемуарная проза В.М. Глинки по высшему счету оптимистична. Культура, искусство, доброта, порядочность существуют совсем не всегда благодаря, а зачастую и вопреки всему, говорит автор. Да, политическая жизнь может десятилетиями основываться на ложных принципах, бытовая действительность поражать убожеством, социальные прогнозы могут быть безрадостны, а часто и ужасны. Но все равно во все времена и при всех политических и социальных формациях существуют люди (и их надо только уметь увидеть), которые живут высокой правдой и чистыми заветами, что заложены в них не только исконно, но и неистребимо. И такие люди, что бы ни случилось, будут рождаться всегда. Так было и так будет. И в этом смысле культура непобедима. Как раз это, а не какое бы то ни было противостояние помогает человеку сохраниться. А потому задача каждого культурного человека находить, обнаруживать, выявлять человеческое в человеке, воссоздавая и создавая мир истинно человеческий хотя бы около себя. Это практическая философия малых добрых дел. «Умирай, а жито сей». Дух Божий веет там, где хочет.

А потому надо жить. И трудиться.

В публикуемом тексте есть вставки воспоминаний о Владиславе Михайловиче его ученика и преемника значительной части его дел в Эрмитаже – Г.В. Вилинбахова. И для нас обоих с Г.В. Вилинбаховым (нынешним заместителем директора Эрмитажа) Владислав Михайлович – дядя Влада. Мы вместе – сын его брата и ученик – сообща заботимся об издании его книг... Как же тут не написать – «мы»?

Издание двух книг, посвященных В.М. Глинке, положило начало серии «Хранитель», с 2003 года издаваемой Государственным Эрмитажем, серии книг о тех эрмитажниках, которые не только оставили о себе добрую память научной работой в отделах, но, кроме того, оставили и домашние архивы.

Михаил Глинка

Воспоминания о блокаде

1

Я убежден, что первый год блокады был одним из самых страшных для истории России, был он и самым страшным из пережитых мной. При этом жизнь моя не была легкой, а была такой, как у большинства моих современников и соотечественников, средних по способности интеллигентов. Но по сравнению с теми из них, кто прошел тюрьмы, лагеря, активно воевал или потерял во время войны многих, а то так и всех близких, я прожил счастливо. Дожил до 76 лет, болею только обычными стариковскими недугами, у меня есть родные и друзья, которых люблю, я всю жизнь занимался тем, что считал полезным окружающим и что мне давало удовлетворение, наконец, сейчас не утратил трудоспособности, хотя, очевидно, она слабеет. Последнее и заставляет меня, приехав на отдых в тихую Эльву, взяться не за статью, заказанную Институтом русской литературы, и не за рассказ для журнала, а за воспоминания 1941–1942 годов. Боюсь откладывать дальше. То, что прошло уже сорок лет, не особенно меня смущает. Даже кажется, что память сохранила ясными именно главные эпизоды виденного и пережитого, отбросив все второстепенное, и это теперь облегчает мою задачу. Вероятно, и сейчас не заставил бы себя последовательно вспоминать то страшное время, если бы встретил в напечатанном справедливое его отражение. Конечно, я читал не все, что печатается о блокаде, но читанное мной, за редчайшими исключениями, преступно лживо, если автор пытается отразить будни среднего ленинградца, чудом не умершего от голода. Или написано, может, несколько правдивее, но тогда с позиций людей, живших в привилегированном положении – генералов, ответственных работников, жен подобных лиц, вроде супруги директора мединститута В.М. Инбер и т. п. Большинство первых писали свои воспоминания так, чтобы их напечатали, то есть прежде всего распространялись о различных проявлениях героизма ленинградцев, которые «умирали, но выстояли». В этих воспоминаниях намеренно умалчивалось о таких общеизвестных явлениях, как грабеж управхозами имущества умерших и спекуляция их продовольственными карточками, о черном рынке, где за продовольствие отдавали все – от одежды и обуви до бриллиантов и регалий, умалчивалось даже о судьбах таких многочисленных категорий населения, обязательно виденных всяким жившим тогда в Ленинграде, как сотни тысяч бездетных одиночек – холостяков, незамужних или вдовых, существовавших до войны на скромную зарплату, а также стариков и старух, родителей солдат и офицеров, бывших на фронте или уже там погибших, об их женах и детях, если они не эвакуировались и не были особенно «пробивными». А именно эти группы населения были обречены умереть раньше других. Если же что и было написано обо всем этом в воспоминаниях блокадников, принятых к печатанию, то редакторы потрудились начисто убрать все, не входящее в установленный свыше «канон» героизма. Пожалуй, особенно гадкими кажутся мне поддельные дневники.

Прежде, чем начать свое повествование, скажу, что буду описывать только то, чему сам был свидетелем или, в немногих случаях, что слышал от людей, мною здесь названных и заслуживающих, на мой взгляд, абсолютного доверия.

2

Война застала меня старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Эрмитажа, переведенного в Эрмитаж только в марте 1941 года. История этого отдела столь

характерна для недавнего прошлого и так тесно связана с последующим рассказом, что я напишу о нем несколько страниц.

Образованный в Русском музее вскоре после 1917 года, он носил название Историко-бытового отдела (сокращенно ИБО), имея целью параллельно с выставками художественного и этнографического отделов освещать историю быта исчезнувших в результате революции классов царской России. Первоначально отдел размещался в особняке графов Бобринских на Галерной улице, куда свозились и собирались из брошенного владельцами или конфискованного имущества коллекции и где был открыт ряд экспозиций, последней из которых являлся «Купеческий портрет XVIII–XIX вв.». Материалы этой выставки в значительной мере были собраны в провинции экспедициями ИБО и поражали знатоков и рядовых посетителей выразительностью и своеобразием материала, дотоле неизвестного и, скажу в скобках, донныне не опубликованного. Перед вами открывалась целая галерея типов купцов и простых мужиков из произведений Островского, Мельникова-Печерского и Мамина-Сибиряка.

Во главе Русского музея стояли в те годы Н.П. Сычев, затем И.А. Острцов, всемерно поддерживавшие работу ИБО, филиалом которого был Фонтанный дом графов Шереметевых. В Фонтанном доме, наряду с залами естественно сложившихся коллекций, великолепно отражавших дворянский быт, существовала большая и очень тщательно сделанная выставка «Труд и быт крепостных XVIII–XIX вв.». Для размещения фондов экспозиций ИБО, явно стесненных в небольшом доме на Галерной, предназначался еще не отделанный внутри флигель Русского музея, построенный А.Н. Бенуа. Дирекция Русского музея испрашивала средства на его отделку, чтобы отдать флигель именно ИБО, деятельно собиравшему материал для экспозиции по быту рабочего класса. А для сбора материалов по купечеству отдел организовал ряд экспедиций на Урал, в Тулу, Иваново-Вознесенск, Петрозаводск и другие центры русской промышленности, не говоря уже о заводских районах Петербурга.

Переезд в здание на канале совершился в 1928 году, и вскоре здесь открылась выставка «Быт русских купцов и промышленников XVIII–XIX веков», где особенно удались «уголки» интерьеров от комнат Сердюкова (начала XVIII в.) до гостиных петербургских гостинодворцев 1840-х и банкира 1870-х годов. Вскоре после этого открылась выставка «Быт рабочего класса 1890–1917 гг.» и подготавливались ее предыдущие разделы. Но тут над Русским музеем разразилась гроза. В связи с делом академиков С.Ф. Платонова и Е.В. Тарле были арестованы и осуждены сотрудники ИБО: профессор М.Д. Присёлков, зав. художественным отделом П.И. Нерадовский, Н.П. Сычев, этнограф А.А. Миллер и ряд других ученых. Вскоре за ними последовал один из руководящих сотрудников ИБО – Н.Е. Лансере.

Л.Л. РАКОВ, ученый секретарь Эрмитажа в 1930-х годах:

Все, испытавшие хоть «легчайшее» прикосновение грозного слепого рока тех лет, навсегда запомнили, как было «тяжело пожатье каменной его десницы».

В исторической науке уже с первых лет четвертого десятилетия можно было расслышать приближающийся грохот шагов командора. «Классовый враг на историческом фронте» – так называлась общегородская дискуссия, открывшаяся в связи с суровыми обвинениями, которые предъявлялись академикам Е.В. Тарле, С.Ф. Платонову и их многочисленным «единомышленникам».

С тех пор многое забылось, и, быть может, следует напомнить, что именно инкриминировалось этим людям. Сообщалось, что Е.В. Тарле готовился принять пост министра иностранных дел в кабинете, который собирался сформировать глава «технократов» инженер Рамзин, что С.Ф. Платонов поддерживал связь с белой

эмиграцией, что в своих работах эти ученые, их друзья и ученики выступали в качестве прямых апологетов интервенции и т. д. и т. п.¹

Место Присёлкова занял профессор В.Н. Кашин, под руководством которого ИБО создал выставку «Феодально-крепостная Россия XVIII века». Но в 1932 году Кашин был также арестован, и для отдела наступил период долгого творческого бездействия и тяжких физических передрыг. А во главе Русского музея на несколько лет оказался некто тов. Гуревич. Он носил наименование художника и до музея чем-то заведовал. Гуревич решил уничтожить ИБО и завладеть флигелем Бенуа для расширения экспозиции художественного отдела по советскому искусству. После ареста Кашина заведующим историко-бытовым отделом был назначен некий тов. Санько, выдвинутое из рабочих «лицо без речей», пасовавший перед крикливым и наглым Гуревичем, к тому же плохо разбиравшийся в том, куда и зачем его назначили. Пробыл он в отделе недолго, и вскоре на его место прибыл некто В.В. Сахаров, лет далеко за шестьдесят с беспорочным и давним партстажем и наружностью побритого деда мороза – лицо ровно красное с белыми густыми бровями. Он поначалу нас всех обрадовал – с дореволюционным университетским образованием, воевал в 1914–1917, потом в Красной армии командовал полком и бригадой. Но был он ранен, контужен и, очевидно, годы брали свое – часто болел и тоже пасовал перед Гуревичем и перед склоненными тем на свою сторону партийными инстанциями. Назначение заведующего ИБО, несомненно, согласовывалось с Гуревичем, а он давал согласие на таких, если точнее называть, убогих, которые не мешали его захватническим планам. И заведующие менялись один за другим, а практически во главе отдела оказался в это время самый молодой из действительных членов (так звались тогда помощники завотделов) Михаил Захарович Крутиков, человек умный, знающий, с хорошим художественным вкусом, но не способный повысить голос, в прямом и переносном смысле, и всегда до тех пор игравший вторые роли. Союзником и единомышленником М.З. Крутикова был только один В.К. Станюкович, состоявший в такой же должности действительного члена ИБО. До 1930 года он заведовал Фонтанным домом, музей дворянского быта в котором к этому времени был ликвидирован, как никому не нужный. Причем часть музейного имущества и вся выставка «Труд и быт крепостных» поступили в ИБО. Действуя в обход вечно хворавшего Сахарова, Крутиков и Станюкович обдумывали пути спасения коллекций ИБО, инвентарные номера которой перевалили за 300 тысяч единиц. Конечно, за единицу при этом считалась каждая колода карт в коллекции, собранной когда-то генералом Ивковым, и каждая коробка оловянных солдатиков, а то так и отдельная фигурка. Но рядом с этим существовали и большие, неповторимые коллекции живописи, рисунков, гравюр, костюмов, осветительных приборов, самоваров, фарфора, стекла, мебели, нумизматики. Итак, план был придуман, и Крутиков со Станюковичем удалось договориться с директором Музея революции М.Б. Капланом (беспартийным юристом, создателем Петроградского музея революции, стоявшим во главе его до 1934 года) в том, что ИБО войдет на правах отдела в Музей революции, имевший в Зимнем дворце пустовавшие залы. План состоял в том, чтобы отдел был впущен в Зимний с перспективой в будущем стать ядром Ленинградского исторического музея.

Впрочем, о перспективах в то время думать и говорить приходилось наспех, Гуревич при поддержке парторганизации Союза художников наступал на отдел нагло и непрерывно. Он кричал, что выбросит из стен художественного музея старый хлам, принадлежавший классовым врагам, и освободившуюся площадь для экспозиции предоставит Союзу художников. А у нас в отделе в это время не было ни одного партийца – даже калеку Сахарова успели куда-то перевести или он опять болел, точно не помню. И Гуревич нас выбросил или подбросил, но глагол «бросить» тут должен участвовать непременно. В десять дней при помощи роты красноармейцев все имущество ИБО водворилось в Зимний дворец. Я в это время с утра до ночи

¹ Здесь и далее выделены тексты комментариев.

паковал в ящики коллекции, которыми ведал – гравюры и литографии, лубки и прочие печатные материалы. Потом помогал нумизматам и еще кому-то. Когда же наконец тоже прибыл, сопровождая свои ящики, в Зимний, то Михаил Захарович, заметно за эти дни похудевший и осунувшийся, позвал с собой меня и Валентина Борисовича Хольцова и повел посмотреть то, как «уложили мебель». До сих пор вижу, как в кошмаре, в двух залах, выходящих на Неву – в бывшей половине последней царицы, – нагроможденную почти до потолка нашу коллекционную мебель. Сколько при этой перевозке и забрасывании «все выше и выше» было переломано ценнейших предметов из Строгановской усадьбы Марьино, из Шереметевского Фонтанного дома, особняка Бобринских на Галерной, из дома купцов Терликовых, из митрополичьих покоев в Александро-Невской лавре, из особняка Штиглицев-Половцовых и множества других! Карельская береза, красное дерево, персидский орех, палисандр, бронзовые каннелюры, золоченые сфинксы, прорванные шелковые сиденья и ручные вышивки – все это громоздилось перед нами. Отдельной горой были сложены обломки – локотники кресел, ножка клавесина, подножье арфы с педалями.

Всегда сдержанный Хольцов, назвав Гуревича подлецом и Геростратом, предложил все сфотографировать и послать в газету. Крутиков ответил, что надеяться на то, что это напечатают, нечего. Он добавил, что умолял политрука, который командовал перевозом, обращаться с имуществом бережно, объясняя, сколь ценные экземпляры они перевозят. Но в ответ услышал, что в полковой клуб приезжал сам товарищ Гуревич и просил, чтобы побыстрее, это, мол, надо для советского искусства...

Нагромождение мебели мы все-таки сфотографировали на тот случай, если документ в будущем удастся где-нибудь предъявить.

3

С Крутиковым и Хольцовым я познакомился в декабре 1932 года, когда пришел в ИБО из Гатчинского дворца-музея. Я застал там дух решительного и резкого В.Н. Кашина, после исчезновения которого всех сотрудников посадили за подробную инвентаризацию коллекций, продолжавшуюся вплоть до «переброски» в Зимний дворец. За эти два года я близко сошелся с Крутиковым и Хольцовым. Очень различные по происхождению, характерам, условиям воспитания и образования, эти двое в далеко еще не конченной борьбе за судьбу бывшего ИБО постоянно объединяли свои силы. Михаил Захарович был серьезный музейщик, вещевед и экспозиционер. Валентин Борисович, начитанный, знавший языки немецкий и французский, окончивший два факультета Университета, был чужд музейной жилке, но отлично владел пером и охотно развивал и облекал в письменную форму проекты Михаила Захаровича, которые как бы сами ложились на бумагу, выводимые его красивым разборчивым почерком. Валентин Борисович любил и умел писать письма, отчеты, доклады, проекты, основные мысли которым давал Крутиков. Моя роль в этом трио была совещательная и когда надо – представительская, о чем речь будет дальше.

Мы встречались ежедневно не только в музее, но в течение полутора лет еще вечерами в Центральном историческом архиве, где работали над выявлением материалов для написания вступительных статей к сборнику докладов по истории удельных княжеств, заказанному нам архивом, на две трети оплаченному, но так и не выпущенному. Могу сказать, что оба мои друга чрезвычайно снисходительно относились к отсутствию у меня систематических знаний, неумению планомерно работать, разбросанности интересов, глупой вспыльчивости. При этом отношения с Валентином Борисовичем были ближе и душевнее. Он был мягкий, доброжелательный, отлично образованный интеллигент, очень скромный и деликатный. Нам всегда находилось, о чем поговорить, и мы нередко бывали друг у друга. Я очень любил слушать его очень живые и всегда чуть юмористические воспоминания о приключениях юности, о театрах

дореволюционного Петербурга-Петрограда, об Университете, в который он поступил, кажется, в 1912 году. Валентин Борисович с женой Ниной Алексеевной и сыном Алешей 8–10 лет жили в двух небольших комнатах на Каляевой (Захарьевской), в квартире, издавна принадлежавшей его родителям. Отец его – известный профессор-уролог Борис Николаевич (скончался в 1940 году) частенько приходил пить вечерний чай к сыну, когда я бывал у него. Рассказывая о Валентине Борисовиче, не могу опустить, что именно он познакомил меня с рядом авторов – Стефаном Цвейгом, Фейхтвангером, Хемингуэем, о книгах которых тогда много говорили. Именно ему я решился показать свои первые литературные опыты. Это были главы из несостоявшегося романа и пьеса. Прочтя, он сказал, что взял рукопись со страхом, но теперь рад за нас обоих... Кажется, единственный человек за мою жизнь, кроме нянюшки Елизаветы Матвеевны, Валентин Борисович звал меня ласкательным «Владичка»...

4

И так, коллекции отдела были переведены в Зимний дворец. Но и здесь верного приста- нища мы не нашли. Скоро участливо принявший нас М.Б. Каплан был переведен в замести- тели директора по научной части, а директором был назначен тов. Эйзенштадт – добродуш- ный, вежливый, редкостно тихий и бледнолицый рижанин, с большим партстажем, но с полным отсутствием административного дара и оперативности. На обстоятельную докладную записку Михаила Захаровича и Валентина Борисовича о радужных перспективах исторического отдела в стенах Музея революции и полезности его для учащихся как средних, так и младших классов школ Ленинграда, он отвечал, что «надо подумать, посоветоваться», да так и исчез из музея через год, ничего не решив. На его место был назначен человек значительно более молодой и совсем другого стиля – С.И. Аввакумов. Он быстро не поладил с Капланом, пользовавшимся симпатией большинства сотрудников, и убрал того из музея, кое-кого уволил, привел кое-кого новых и занялся переделками экспозиции, по правде сказать, довольно устаревшей и неудач- ной. Вероятно, из бывших сотрудников ИБО я в годы 1934–1936 был самым счастливым, ибо не мог всецело погрузиться в тревоги за судьбу отдела и связанную с ним свою собственную. Меня назначили заведовать филиалом Музея революции – музеем-усадьбой Грузино.

Усадьба Грузино находилась на правом берегу реки Волхов, в 135 верстах от С.-Петербурга, в 80 – от Новгорода и в 12 – от Чудова.

В старину здесь существовал грузинский погост Заонежской пятины, принадлежащий Воскресенскому Деревяницкому монастырю. В 1705 году Петр I подарил грузинскую волость князю А. Меншикову, после опалы которого она была возвращена монастырю. Затем Грузино поступило в экономическое ведомство, и в 1796 году Павел I подарил имение Грузино А.А. Аракчееву. Для него за короткий срок и была создана Ф.И. Демерцовым усадьба с многочисленными постройками, памятниками, садами, парками и прудами.

В 1920–1930-е годы большая часть взятых на охрану государства усадеб была запущена и полуразрушена. Таким было и Грузино, ставшее историко-бытовым музеем.

Из статьи Н.В. Мурашовой «Архитектурный ансамбль усадьбы Грузино – произведение Ф.И. Демерцова», посвященной памяти Владислава Михайловича Глинки. (Панорама искусств, № 9, М., 1986.)

Я много раз туда ездил, очень подружился с тамошним самоотверженным хранителем П.А. Чернышевым и устроил там выставку по истории военных поселений и восстания в них

в 1831 году. Размещалась она в верхних залах пустовавшего Аракчеевского дворца. А мои товарищи в эти годы были, в сущности, без дела. Распаковывать свои подопечные материалы, лежащие в ящиках после перевозки, пока что было не для чего.

Наконец, почти через два года напряженного существования, Михаил Захарович возложил на меня ответственное поручение – добиться свидания с заведомо идеологии и пропаганды Ленинградского обкома партии Б.П. Позерном и привлечь его внимание к судьбе отдела. Собственно, путь операции был четко намечен самим Крутиковым. Взяв прицел на образованного Позерна, Михаил Захарович как-то прознал, что тот живет в доме 26/28 по Кировскому проспекту на одной лестнице с Натальей Васильевной Крандиевской-Толстой, разведенной женой писателя Алексея Николаевича. А мы все после весны 1936 года слышали, что Никита Толстой, влюбленный в Наташу Лозинскую, отстоял через отца-писателя знаменитого переводчика и поэта Михаила Леонидовича Лозинского с семьей и спас их от высылки из Ленинграда. Знал Михаил Захарович также, что по работе в Петергофе я знаком с Татьяной Борисовной Лозинской, возглавлявшей там в 1920-е годы школьную экскурсработу. Вот я и получил задание просить Татьяну Борисовну представить меня Наталье Васильевне и, будучи там, меня примет, просить устроить мне свидание с Б.П. Позерном или хотя бы, если сочтет свидание неудобным, рассказать ей о наших злоключениях и просить передать Позерну нашу докладную. Я уговаривал Михаила Захаровича идти со мной, но он сказал, что ему это неловко и он вполне надеется на меня. Я уже говорил, что пользы от меня в отделе было немного, и решил подчиниться.

Все вышло очень легко и быстро. Т.Б. Лозинская пригласила меня прийти в тот же вечер, когда я ей позвонил, и тут же при мне по телефону попросила Наталью Васильевну меня принять. На другой день я отправился на Кировский, 26/28. В то время, несмотря на сравнительно недавнее убийство Кирова, никакой охраны в этом доме я не заметил. Только женщина-швейцар спросила меня, куда я иду, и назвала, какой этаж. Наталья Васильевна приняла меня очень любезно, просила сесть и рассказать свое дело. Она была еще очень хороша собой. Стройная фигура, ясное свежего цвета лицо, умные глаза. Выслушала внимательно, расспрашивала, ужаснулась, когда я показал фотографию наваленной мебели. Сказала, что это надо обязательно приложить к докладной записке, которую (она постарается) я бы мог лично вручить Позерну.

Через несколько дней Наталья Васильевна позвонила мне по телефону и сказала, чтобы я пришел в воскресенье днем в такой-то час. Когда я явился, она сказала, что сейчас придет Борис Павлович, которому она меня уже отрекомендовала, и он меня выслушает.

Это был за всю мою жизнь единственный разговор с крупным партийным работником. Начну с того, что через пять минут после моего прихода Позерн позвонил по телефону, осведомился, пришел ли я, и просил извинения, что задержится немного, так как у него врач. Наталья Васильевна пригласила меня, пока ждем, выпить у нее чаю. За столом я познакомился с Митей – сыном Натальи Васильевны, тогда еще мальчиком в коротких штанишках. Столовая была обставлена так же, как и та комната, где я был в первый раз, – кабинетные стулья и дорогой новый диван, хорошая бронза, хороший фарфор. С 1923–1925 год, когда я бывал у С.Н. Тройницкого, я видел там А.Н. Толстого и знал, что он, получая огромные гонорары, покупал старинную мебель, фаянс, бронзу, советовался с Сергеем Николаевичем.

Тройницкий Сергей Николаевич (1882–1948), крупнейший искусствовед, в 1918–1927 годах – директор Эрмитажа. Один из основателей и издателей журнала «Старые годы», издатель журнала «Гербовед».

Как можно понять из написанного В.М. Глинкой, С.Н. Тройницкий, как знаток искусства и музейный работник, был

для него в течение всей жизни примером специалиста высочайшей научной квалификации, соединенной с высокими нравственными принципами.

В 1930-х годах С. Н. Тройницкий подвергался репрессиям. Последние годы его жизни прошли в Москве, где он, скитаясь по наемным квартирам, не нашел себе ни признания, ни заработков, ни крова. Конец его дней в казенной больнице, отягощенный безденежьем, ощущением бездомности и ненужности никому того, что было для него содержанием его жизни, был трагичен.

Едва мы выпили по чашке чаю, как появился Позерн. Он поцеловал руку Натальи Васильевны, поздоровался со мной. Он был коротко стриженный, с проседью, с небольшой бородкой. Галифе и френч. Обут в высокие сапоги с мягкими голенищами. Это я запомнил особенно ясно, потому что, извинившись у Натальи Васильевны, он положил ногу на другой стул, ловко подложив под нее вынутый из кармана платок. Нога у него болела и, именно по этому поводу был у него врач. Усевшись, он сразу же попросил рассказать, в чем наше дело. Я долго готовился к этому совещанию, несколько раз писал конспект того, что надо говорить, и тут, видимо, затараторил так, что он меня остановил:

– Не так быстро, молодой человек...

Слушал он внимательно, глядя холодноватыми умными глазами, несколько раз морщился и передвигал ногу...

Выслушав, взял в руки принесенную мной записку, глядя на приклеенную к листку фотографию, покачал головой. Встал, взял со стула платок, поцеловал руку Натальи Васильевны, пожал мне руку и, прихрамывая, вышел, не произнеся более ни слова. Наталья Васильевна сказала, что у бедняги, верно, очень болит нога. Но она надеется, что он сделает, что может.

Прямо оттуда я направился к Крутикову, который жил неподалеку, и все ему пересказал. Мы оба радовались. Нам казалось, что наконец дела нашего отдела пойдут на лад.

А вскоре мы узнали сначала из слухов, что весь состав Ленинградского обкома и горкома арестован, а еще через какое-то время стало известно, что почти все начальство Ленинграда и, в частности, Позерн расстреляны, как враги народа.

Наша докладная, вероятно, была где-то среди бумаг Позерна. И хоть она была без адреса, без обращения и без подписи, однако, если захотели бы узнать, кто ее писал, так недолго было и найти... Но пронесло.

Так кончилась наша попытка искать правды у вышестоящих партийных лиц. А я, вспоминая разговор с Позерном, не могу отделаться от мысли, что помимо боли в ноге, его мучило еще что-то посерьезней...

В «Большой Советской Энциклопедии» первого выпуска Б.П. Позерном подписана большая статья о Кирове. Приведем из нее несколько фраз:

«...1/XII 1934 Киров был по прямым указаниям Зиновьева и Троцкого предательски убит Николаевым, членом троцкистско-зиновьевской террористической фашистской банды. Эта банда, являясь передовым отрядом международной контрреволюционной буржуазии и действуя совместно с фашистским Гестапо, ставила своей задачей реставрацию капитализма в СССР и считала основным средством своей борьбы с Советской властью индивидуальный террор против вождей партии...» (БСЭ, 1936, т. 32, с. 410).

Ритуальные слова, ритуальное поведение... Партийная фразеология не допускала никаких вольностей, игра была одна. А

быть вне этой игры Б.П. Позерн сначала не желал, а потом, видимо, уже и не мог.

Зная характер Сталина, он, конечно, понимал, чем грозит сам факт пребывания на верхах. Не мог он не помнить и того, как сам голосовал за уничтожение Зиновьева и прочих, когда-то столь близких ему товарищей. Но бежать было некуда, апеллировать не к кому.

5

Прошло два месяца, и вот мы с Михаилом Захаровичем идем почти туда, откуда нас выгнал Гуревич, – на другой конец того же квартала – к директору Музея этнографии Н.Г. Таланову. В кармане Крутикова новая докладная о судьбе нашего отдела с предложением создать из него исторический отдел ГМЭ. Ведь история и этнография – сестры. Н.Г. Таланов, с которым по прежней работе в Русском музее мы оба были знакомы, принял нашу миссию сочувственно и обещал включить нашу докладную в собственный доклад, двинув его вверх в Москве. И вот мы перебираемся в Музей этнографии. Страшно вспомнить перевозку наших коллекций на угол Садовой и Инженерной и в закрытый костел св. Екатерины, где обосновался я с коллекцией живописи и рисунков. Лишь позднее была оборудована кладовая с полками, но холсты так и оставались связанными в пачки с прокладками мятой бумаги под углами. В костеле было просторно и сухо, хотя отопление не действовало, и от холода погибал на хорах лучший, как говорили, орган в Ленинграде – болело чумой олово. В других кладовых, куда перевели наши коллекции, было донельзя тесно, и при перевозке опять многое пострадало.

Здесь уместно будет сказать, что все годы моей музейной работы, вплоть, пожалуй, до 60-тилетнего возраста, мне, как и другим мужчинам, обладавшим хотя бы средними физическими силами, доводилось исполнять постоянную работу грузчика и музейного рабочего. Вспоминаю хотя бы свое хранение в костеле св. Екатерины. Перевозившие наше имущество красноармейцы опять свалили пачки связанных картин горами у входа с Невского, тут же оставили и ящики с рисунками и акварелями. И я почти ежедневно растаскивал эти связки и расставлял их по большому зданию, группируя по темам. На ярлыках, прикрепленных к подрамникам, мы при упаковке старались примерно обозначить групповые признаки экспонатов – «семейный портрет», «пейзаж», «жанровая сцена» и т. д. Подобная нагрузка лежала на нас и при устройстве выставок – поднести, поддержать, повесить, укрепить – все это без помощи рабочих команд мы делали сами – сколько времени пройдет, пока их дозовешься...

Из воспоминаний Г.В. Вилинбахова:

К тому времени, когда Владислав Михайлович заведовал коллекциями, хранившимися в костеле, относится следующий эпизод. В.М. рассказывал, что как-то ночью он был разбужен телефонным звонком и получил указание немедленно отправляться в костел, поскольку возникла надобность в том, чтобы открыть двери и впустить по удостоверениям тех, кто придет. В.М. отправился в костел, и через некоторое время появилось несколько сотрудников НКВД и с ними какие-то штатские люди.

Происходило это году в 37-м или в 38-м. У Владислава Михайловича в это время уже сидел под следствием брат, обвинявшийся во вредительстве (якобы за отравление лошадей на конном заводе), и можно себе представить, какого рода ощущения овладели им, когда он увидел, у кого возникла необходимость внезапно обследовать его заведование, да еще и ночью. Но когда он своими ключами открыл двери, выяснилось, что ни он сам,

ни то, чем он заведовал, ночных посетителей совершенно не интересует. Вызвали В.М. только для того, чтобы он открыл двери. Из услышанных реплик он понял, что на правительственном уровне достигнуто соглашение о передаче полякам праха последнего короля Польши Станислава-Августа Понятовского и о перевозе гроба в Польшу. Гробница Понятовского находилась в костеле. Тут В.М. разглядел среди посетителей поляка. Это был то ли ответственный дипломат, то ли даже сам посол.

Как именно вскрывали гробницу, а потом открывали и гроб, В.М. не рассказывал. Говорил, что, как он помнит, на останках Понятовского был голубой кафтан, отделанный серебром, и лента ордена «Белого орла». А на голове оказалась тонкая золотая корона, и была на короне надпись, точные слова не помню, но что-то вроде: «Королю Польши от Императора Павла». Из-за этой короны возник спор. Наши, конечно, стали говорить, что никакой договоренности о передаче драгоценностей не было, но поляк стоял на своем – якобы договоренность касалась всего гроба с прахом целиком, и, мол, никаких ни полномочий, ни оснований для того, чтобы с праха что-либо снимать и из гроба что-то изымать – у нашего представителя нет. Вероятно, опасение, что грянет дипломатический скандал, у наших представителей пересилило страх за несанкционированную отдачу короны. К тому же корона явно была очень легкой, можно сказать, декоративной, и спор закончился в пользу поляка.

Наличие праха было удостоверено, гроб закрыли, общими усилиями всех находившихся в костеле извлекли из гробницы, вынесли на Невский, погрузили и увезли.

На том дело и кончилось, но племянник В.М. говорил мне, что, когда они с дядей как-то шли мимо костела, дядя, остановившись, сказал, что Понятовскому, которым, как шахматной фигурой, играла Екатерина Вторая, и после смерти все никак не удается уйти из-под власти России. Мало того, что тот доживал свой век в Петербурге лицом совершенно второстепенным, мало того, что здесь был и погребен, но и через сто сорок лет, когда его прах наконец был увезен на польскую территорию, этот прах очень скоро снова оказался на территории СССР – Львов, куда его увезли, в 1939 году был присоединен в составе Закарпатья к СССР.

В Музее этнографии Михаил Захарович очень быстро создал выставку «Россия в XVIII веке», постаравшись несколько смягчить вульгарную социологичность, которая предписывалась нам сверху. На выставку устремился поток поклонников. Книга отзывов была полна благодарностей и просьб создать продолжение ее, показав XIX век. Крутиков и Хольцов уже задумывали план этой новой выставки, когда был арестован Таланов, и на место его после короткого интервала был назначен Е.Г. Мильштейн. Ему рост нашего отдела не показался желательным. Тем более, что нам благоволил его «криминальный» предшественник. К тому же этнографы, которые за два года не открыли ни одной новой выставки, начали жаловаться на нас, указывая, что мы отнимаем у них площадь и что вообще нелепо соединять историю с этнографией. Михаил Захарович пытался обратить внимание тов. Мильштейна на сравнительные цифры, характеризующие посещаемость нашего и чисто этнографических отделов, но это не помогло. Новый директор стоял на том, что музей называется этнографическим, значит, таким он и должен быть. И снова в конце 1940 года Крутиков и Хольцов засели за докладную

записку, а затем Михаил Захарович и я отправились с «челобитной» на этот раз к директору Эрмитажа И.А. Орбели. Хитроумные авторы записки предложили на этот раз создать в Эрмитаже отдел истории русской культуры, аналогичный по содержанию уже созданным отделам Востока и Первобытного общества.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.